

Евгений Боткин

**Свет и тени русско-японской
войны 1904-5 гг.**



Евгений Сергеевич Боткин
Свет и тени русско-японской войны 1904-5 гг.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8650356

Аннотация

«Мы едем весело и удобно. Все едут за одним делом; все военные совершенно покойно настроены; нет никакого разговора о возможных опасностях, все даже веселы, и большинство рвется на войну.

По мере приближения в Сибири, становится все теплее. На станциях я выхожу иногда в одной тужурке, в башлыке и папахе. Сейчас здесь, в Челябинске, 9° мороза, воздух чудный, дорога прекрасная, солнце светит, и лошадка летела стрелой. Интересно было посмотреть этот маленький городок, в котором однако все можно найти...»

Содержание

I. В пути	4
II. В Харбине	7
III. В Ляояне	10
IV. Первые раненые	11
V. После Тюренчена	13
VI. Перед боем под Вафангоу	16
VII. В бою под Вафангоу	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Евгений Боткин

Свет и тени русско-японской войны 1904-5 гг.

Из писем к жене д-ра Евг. С. Боткина

I. В пути

18-ое февраля 1904 г.

Мы едем весело и удобно. Все едут за одним делом; все военные совершенно покойно настроены; нет никакого разговора о возможных опасностях, все даже веселы, и большинство рвется на войну.

По мере приближения в Сибири, становится все теплее. На станциях я выхожу иногда в одной тужурке, в башлыке и папахе. Сейчас здесь, в Челябинске, 9° мороза, воздух чудный, дорога прекрасная, солнце светит, и лошадка летела стрелой. Интересно было посмотреть этот маленький городок, в котором однако все можно найти.

Преобладающее ощущение – будто со старой жизнью у меня все порвано, и я начал новую; будто все, что было, осталось в прошлом, или было только сном, – что нет у меня ни семьи, ни «Общины», ни старых друзей, и что предстоит что-то новое, неведомое. Конечно, это чувство объясняется только полной отрезанностью от вас, отсутствием всяких о вас известий – и несомненно только временное; но не один я испытываю его, а также и капитан К., оставивший жену и пять человек детей, причем младшему год с небольшим. Первые дни он очень грустил, особенно по утрам, а добрейший капитан Л., холостяк, помещающийся в одном с ним купе, участливо спрашивал его:

– Чем бы мне развлечь вас, голубчик?

Генерал Р. обедает за нашим «красно-крестным» столом и ко всем нам относится удивительно мило. Ложась раньше всех, он первый и встает, и, зная, что предоставленные себе, мы рискуем проспать даже обед, будит нас, предупреждая о больших станциях.

– Доктор, извольте приказать себе встать! – разбудил он сегодня меня: – Через полчаса Каинск, и мы стоим там 35 минут.

Днем он сегодня над картой Маньчжурии обсуждал различные возможности нападения японцев, и это было интересно. К нам присоединился еще один офицер, очень хорошо знающий китайцев и их язык; сегодня я учился у него этому языку и с интересом слушал его рассказы. «Ига, линга, санга, сыга, уга, люга, чига, пага, дзюга, шига» значит: 1, 2, 3... 10. Встречаясь с новым человеком, китаец спрашивает его: «Как твое дорогое имя?», потом, вместо приветия, спрашивает: «Кушал ты или не кушал?» Отвечаешь: «Кушал», т.-е.: «ги фан ля». Потом задает вопрос: «Сколько прекрасных солнц и лун заключает в себе твоя семья?», на что полагается отвечать: «Грязных поросят у меня столько-то» (число детей) и т. д. Чем возвышеннее и любезнее его вопрос, тем униженнее должен быть ответ.

В Каинске встретили мы скорый поезд, в котором уезжали женщины и дети. На площадке одного вагона мы увидели милого мальчугана шести лет, с которым разговорились.

– Как тебя зовут?

– Адя.

– Значит, Аркадий?

– Да нет, Адя!

– Да коротко что-то.

– Ну, Андрей Сергеевич.
– А фамилия?
– Гонзин.
– Откуда едешь?
– Из Порт-Артура.
– Бомбардировку видел?
– Видел.
– Не страшно было?
– Не-ет.
– Даже забавно было?
– Да, забавно.
– Что же, ты проснулся от шума?
– Да нет, ведь они и утром продолжали.
– В близко упала бомба?
– Нет, они падали в старом городе, который на берегу, а мы жили в новом, который подальше.

Славный мальчик Адя. Когда поезд тронулся, он мне ласково кивал с платформы, и я еще раз пожал его лапку. Видимо, и на взрослых бомбардировка не произвела особого впечатления.

Наше время все больше и больше рознится от вашего: вчера уже мы опередили вас почти на три часа.

21-ое февраля 1904 г.

Сегодня ночью приезжаем в Иркутск, где я и опущу, вероятно, это письмо. Простоим там, кажется, часов пять с половиною, и в этом чудном поезде к 9 ч. утра будем подвезены к Байкалу. Это огромное удобство, которое вам выхлопотал милейший Вас. Вас. Уф, начальник поезда, всю дорогу вас всячески оберегавший и опекавший.

Третий день равнина сменилась умеренными возвышенностями с очень недурным сосновым и, отчасти, березовым лесом, но местные жители ничего этого не снимают, увлекаясь своими зданиями. В настоящее время мы едем по району богатых угольных залежей, здесь же – родина нефрита и графита. Знаменитый Alibert имел здесь большое дело и роскошный дворец, но однажды уехал – и более, говорят, не возвращался. Что с ним случилось – здесь никто не знает.

24-ое февраля 1904 г.

Только вчера телеграфировал тебе о переезде через Байкал, так как в Танхое, куда привезли вас, телеграфа нет, и мы ушли оттуда уже поздно, в первом часу ночи. Самый переезд был удивительно приятен. Мы ехали в больших кошевах по-двое, где обыкновенно едут втроем, и было удобно до чрезвычайности. Я надел на рубашку шерстяную фуфайку, затем жилет, тужурку, летнее пальто, башлык на шею, папаху, доху, рукавицы, а на ноги – бурочные сапоги и валенки. Во всем этом я едва дышал – так было жарко. Погода мягкая, кругом по горизонту величественные горы, окружающие громадную площадь снега, прорезанную тут и там вагонами; они идут по рельсам, но помощью саней, которые везут две лошади. Нужно признаться, что везут они очень тихо, и никто, как будто, за ними не наблюдает. Нашего кучера, бурята, пятнадцатилетнего Ивана, подгонять не приходилось и, несмотря на чихлость своих трех лошадок, он совсем незаметно промчал нас до станции «Середина», стоящей на 25-ой версте по середине озера. Дорогой я сладко дремал, и когда открывал глаза, мне казалось, что я вяжу чудную северную сказку. Станция середина – большой деревянный

барак, снутри обитый войлоком и отлично отопленный. По стенам стоят длинные столы и скамейки. Закуска предлагается даром.

Здесь мы встретили ряд обитателей Владивостока, покинувших его еще до бомбардировки. Между прочим, ехали две сестры, с одной из которых было семь человек детей; старший гимназист, а младшему – три недели, и мать сама его кормит. Мало того, они везут еще с собой четырехмесячного щеночка, который еще меньше, чем самый младший член семьи. Едут они очень благополучно. Такие семьи рассаживаются в кошевах иначе, чем мы, не на сиденье, а прямо на дно её, так что за её высокой спинкой они должны быть очень хорошо защищены от ветра.

Оставшиеся двадцать-две версты пролетели еще незаметнее; мы обгоняли войска, не иззябшие, а шедшие, бодро и весело. Ближе к берегу, в пристани Танхой, мы стали встречать обозы Красного Креста, сперва Евгениевской Общины, а потом и нашей, Георгиевской.

Следующие два дня, как я уже писал, прошли значительно вялее, но о голоде, все-таки, и речи быть не могло, так как каждый день были станции с недурными буфетами для завтраков и обедов. Поезд стоял всегда достаточно, чтобы все могли насытиться, и цены совсем обычные, но каждую порцию приходилось добывать с боя, с постоянным риском или облить кого-нибудь щами, или самому быть облитым. «Услужаящие» проявляли чудеса своего искусства: только-что ты уберешься от фазана, который пронесли над твоей головой, ты чувствуешь, что кто-то толкает тебя в ноги, и замечаешь, что между ними мальчишка пронесет тарелку супа.

Сегодня утром приехали мы в Маньчжурию.

II. В Харбине

1 марта 1904 г.

Итак, с невероятной быстротой мы долетели вчера до Харбина. Осталось самое светлое воспоминание обо всем путешествии и обо всех спутниках.

В Харбин мы приехали – как к себе домой. На вокзале вас встретили знакомые врачи и студенты. Александровского и меня повез к себе доктор Ф. А. Ясенский, старый приятель Александровского. Мы сразу попали в уютную, теплую, благоустроенную квартирку старого холостяка и очень милого и гостеприимного человека. Поболтав до трех часов утра за кипящим самоваром, я улегся в кабинете, который уступил мне любезный хозяин.

Утром всей компанией Красного Креста ездили смотреть дома, намеченные для вашего управления и «сестер», и затем все поехали с визитами в здешним властям; я же, не имея еще мундира, отщепился, когда ехали мимо хорошего парикмахера-француза. У него отличное atelier с громадным трюмо на пять кресел, выписанным из Парижа, в самом современном стиле. И это где же? – в Харбине! Пока я стригся, пришли два призванные из запаса, косматые и грязные, и пока одного стригли, другой его подзадоривал и говорил:

– Остригите его машинкой! обрейте ему усы!

– Валяй, брей мне усы!

– Не надо, – говорит француз.

– Прошу тебя, брей, – трудно что-ли?

И вышел он актер-актером.

6-го марта 1904 г.

Сегодня председательница местного комитета Красного Креста, К. А. Хорват, устраивала Красному Кресту дневной спектакль в китайском театре Николая Ивановича Ти-фун-тая. С китайским театром я познакомился вчера вечером, побывав вместе с друзьями даже в двух театрах в один вечер. Это – большие деревянные сараи с партером и ложами в верхнем коридоре. Нижний составляет что-то вроде мест за колоннами. Мы получили лучшие места в одной из лож против сцены, и это стоило нам по 60 коп.

Партер уставлен маленькими четырехугольными столиками, за которыми сидят грязные и неблагоприятные китайцы. На столиках, также как и на деревянных перилах лож, стоят чашки, покрытые блюдечками, с насыпанным уже чаем. Чай этот заливается кипятком, долго не настаивается, остается мутным и сильно пахнет пылью. Во все время представления посетители обносят сладостями (за деньги) и между прочим обсахаренными китайскими (райскими) яблочками на тоненьких палочках. Мы пробовали только их и остались ими очень довольны. Китайцы все время едят и пьют; по временам в партере поднимается пар – это принесли темно-серые, повидимому, до крайности грязные, смоченные в кипятке салфетки, которые и раздаются публике. Китаец обтирает себе салфеткой руки, потом губы, потом лицо и иногда перекидывает салфетку другому. Затем салфетки отбираются, снова свачиваются и через некоторое время опять приносятся.

На сцене происходит совершенно непонятная кутерьма; люди входят и выходят все в красивых китайских костюмах и отчаянно выкрикивают и вывизгивают свои роли; актерам и актрисам, которым особенно много приходится кричать и визжать, подносят тоже время от времени чай. Лицедеем приходится действительно сильно надирать голос, так как они должны все время покрывать неустанно действующую музыку. Оркестр в этих театрах – несложный: один играет на инструменте, подобном скрипке, но с одной струной; другой бьет, когда нужно, в барабан, третий – в тарелку и кастаньеты, четвертый – в гонг, а пятый весь вечер неутомимо колотит двумя деревянными палочками по какой-то деревянной нако-

вальне. Вся эта какофония не имеет большею частью никакого мотива и, смотря по действию, то становится чуть-чуть потише, то бьет во всю. Изредка раздается рожок или род флейты. Артисты кричат и визжат в унисон с оркестром, так что долго выдержать эту музыку совершенно невозможно. Китайцы же смотрят с большим вниманием целыми часами подряд и иногда выражают свое одобрение громким рыком: «хау, хау», что значит – хорошо. Недурно выходят различные декоративные сцены и группы, да комики играют с выразительностью, причем у них нос и окружность глаз непременно вымазаны белым. Актрисы страшно нарумянены, даже ладони намазаны красным, а мужчины почти все с привязными бородами, покрывающими и рот. Но часто женщины играют мужские роли, а юноши – женские. Декораций не было никаких, и все изображалось жестами: когда должна была выйти чудная китаянка, комик сделал движение, будто поднимает ворота и потом опустил их за нею; когда хотели изобразить, что поехали верхом, взяли какие-то палочки и помахивали ими; когда поплыли по воде, взяли весло и гребли по воздуху. Совсем – игры нашей детворы. Иногда эта передача действия переходит в большой реализм.

Сегодня мы все сидели в партере за длинными столами: театр был устлан коврами. Тем не менее, и несмотря на пальто, ноги у нас замерзли, я прозяб и, будучи не в состоянии выносить музыкального шума, готов был уйти, – когда прислуживавшие нам китайские полицейские стали расставлять бокалы, рюмки, затем раскладывать вилки, наконец, ножи. У меня был аппетит, и я остался. На больших деревянных подносах принесли закуску, уже разложенную на блюдечки. На каждом из них лежало четыре сорта закуски, а всего их было семь, причем все было нарезано маленькими кусочками: кроме омара (с кислым и сильным запахом), ветчины, курицы, какой-то копченой рыбы, – здесь была прессованная икра (очень вкусная), семилетняя куриные яйца, консервированные в извести, с темнозеленым слоистым желтком и темнокоричневым студенистым белком (тоже вкусные), маринованный бамбук (недурно) и отвратительная морская капуста, какие-то студенистые червячки. Когда было замечено, что закуски кончают, принесли еще по блюдечку. После этого в чашках подали суп из ласточкиных гнезд; это оказался прекрасный куриный бульон, с густой, как войлок, студенистой вермишелью, – это-то и были вываренные ласточкины гнезда, – по мне невкусные, но Ш. и их съел до тла и еще другую порцию взял у «сестры»; я тоже с удовольствием выпил бульон из чашки соседа, которого чуть не стошнило при одной мысли, что это – ласточкины гнезда.

После этого, ваши «сестры» поднялись, и все стали расходиться. Все это угощение было приготовлено здешним китайским генералом Джоман, который принимал гостей вместе со своей женой. Были и другие важные китаянки, все очень старательно причесанные, с цветами и разными украшениями в волосах. Каждую из них вводила в зал её служанка, при приезде их обе двери открывались настежь, и генерал звал свою жену, которая шла гостям на встречу.

Приветствуют китайцы друг друга без больших церемоний, а складывают руки лодочкой и немного потряхивают ими по воздуху; чем больше уважения заслуживает та, которую приветствуют, тем ниже опускаются руки; девушки и дети при этом еще приседают и, чем они моложе, тем ниже. Некоторые гости пришли с совсем маленькими и очень миленькими, притом красиво одетыми китайчатами, с которыми обращались с большой нежностью. Уходя, я заметил, как одну из этих деток кормили ласточкиными гнездами, «вправляя» ей в рот, по меткому выражению одной из «сестер», эту вермишель серебряной палочкой. Накануне я видел, как одной из актрис, сидевшей в боковой ложе, принесли грудного китайченка; она нежно завернула его в свой халат, целовала и передала затем сидевшей с ней рядом женщине, которая тут же и покормила его грудью. В общем китайцы имеют добродушный вид, некоторые даже недурны собой; к нам относятся с благодушием, но кто знает, что у них в действительности в душе?!

13-ое марта 1904 г.

Харбин стал препорядочным городом. Он раскинут на большом пространстве и делится на три части. Так-называемый Новый Харбин вырос, разумеется, около железнодорожного пути, так как для него только и существует. Не будь войны и войск, для которых он служит большой стоянкой, он бы производил впечатление совершенно лишнего. Новый город состоит из ряда нисеньких домиков, выстроенных из красного кирпича, похожих друг на друга, как родные братья. Про них остроумно сказал капитан Л., оглядывая их ряды: «Вот, сколько домов, а если собрать всех обитателей их, то можно всех поместить в одном пятиэтажном доме, и тогда это был бы не город, а только дом». Дома эти так между собою схожи, что трудно найти свой. А. никак до сих пор не может узнать дом, в котором гостит у Я. Третьего дня, он вечером заехал в общежитие Красного Креста, чтобы его оттуда проводили; взялся один из врачей и запутался окончательно. Много и мне пришлось поплутать, пока не огляделся. Дома все казенные и потому под номерами, но номера ставятся не по порядку расположения, а по порядку постройки, – поэтому № 91 оказывается между No№ 475 и 830. Извозчики улиц совершенно не знают, так как все приехали вместе со своими развалистыми дрожками и упряжью с пристяжкой из Одессы: все местные извозчики призваны, как запасные. За Новым Харбином в 4–5 верстах находится старый Харбин, с китайскими фанзами, окруженными заборами из прессованного навоза с глиной. В старом Харбине помещается и управление пограничной стражи, и, между прочим, была устроена отличная школа-приют, в которой были размещены наши «сестры», так как школа, за выездом многих семей, превратила свои действия. Помещены были там сестры отлично, и вообще школка оборудована премило, и детишки, которых мы там застали (три мальчугана) были очень симпатичные.

Третья часть города – за железнодорожным путем – называется пристанью. Это – торговая часть города с улицами, полными китайских лавок и больших русских магазинов, где можно достать все, что нужно.

В Новом Харбине Красным Крестом нанят большой трех-этажный дом, построенный китайцем Вынь-ха-вынем, по просту прозванным у нас Вей-ха-веем. Здесь помещается управление главноуполномоченного, будем жить все мы и «сестры». Фельдшерскую школу в Харбине отдали нам под склад, а большие казармы барачной системы – под госпиталь. В каждом таком бараке могут помещаться по двести человек, и таких у нас будет шесть или семь. Теперь идет там ремонт, приспособление – с быстротой просто лихорадочной.

С. В. Александровский – по истине молодчина: энергичный, находчивый, распорядительный, сообразительный и с большим тактом. Он несомненно умный человек и делающий свое дело, ради дела, ничего из него не извлекая. Он – большой мастер узнавать людей, быстро раскусывает их и очень объективно их расценивает. Благодаря этому, он умеет обставить себя людьми и умеет ими пользоваться. Он может быть вспыльчив, но, повидимому, снисходителен к тому, что вне сил данного субъекта, и не прощает только нерадивости и недобросовестности.

Скажи от меня Мимале, что диких людей я не видал, но что, все-таки, китайские «ходи», как зовут здесь всех простых китайцев (по ихнему же), особенно нищие, в невообразимых отрепьях, достаточно дикобразны, и нужен неисчерпаемый запас любви и нежности русской души, чтобы не только говорить: «бедный ходя!», как вчера ласково называл один из истопников китайца, грузившего ночью наш поезд, – но даже «ходюшка».

III. В Ляояне

22 марта 1904 г.

...Я очень спешил с открытием 1-го Георгиевского госпиталя и не спешить не мог, так как Александровский бомбардировал меня ежедневными телеграммами на эту тему, а военно-медицинский инспектор умолял скорее немного освободить переполненный военный госпиталь.

Усадьба инженера Шидловского, Паю-Верн, которую мы здесь занимаем, пресимпатичный и преуютный уголок, который летом будет, вероятно, обворожительно мил и красив, да и теперь даже красив. В нем два двора; внутренний отделен живописными воротами; на дворах стоит несколько столбов с собаками, которые должны изображать львов – одну из любимых форм воплощения Будды. Во внутреннем дворе, в глубине – флигель для офицеров с внутренними болезнями; за ним – отдельный для них садик; налево покоеобразное здание (вчера открытое) хирургическое отделение; направо – домик сестер (с большим балконом) и аптека. В первом дворе направо – терапевтический флигель (тоже еще отделяется), а налево – ваш домик, окруженный садиком. Еще ближе в воротах (внешним) с правой стороны – кухня, склад провизии и домик для китайцев, у нас служащих, с левой – домик в три окошечка, где амбулатория, а между ним и нашим домиком – флигель для студентов и гостей. За рядом зданий правой стороны – бараки, в которых помещаются склады, санитары и наша общая большая столовая; наконец, ледники, закрома, конюшня, стойла и т. д. Вся усадьба обнесена высоким забором, от которого вглубь еще идут в немалом количестве перегородки. Это обширное хозяйство сторожит караул, так что можешь быть за нас совершенно спокойна.

Здесь настоящая весна, воздух чудный. Ведь Ляоян – на широте Неаполя.

18 апреля 1904 года.

...Встаем мы рано: около восьми часов утра по всей усадьбе раздается гонг, при звуке которого В. В. А., когда в духе, начинает петь «Славься», что выходит очень забавно.

Он быстро вскакивает с постели и начинает умываться. В время в соседней комнате раздается веселое пение Ш., насвистывание и разговоры В. В. А. Я выкуриваю папиросу, чтобы проснуться, и тоже встаю. Теплый весенний воздух оживляет меня, и я с неизменным удовольствием наблюдаю типичные утренние сцены. Чай дается только до 9½ часов утра. Сейчас же начинаются бесконечные переговоры с С. В. Александровским, писание телеграмм, распределение отрядов и проч., ежедневно прерываемые разными лицами с самыми разнообразными вопросами. Днем после обеда (в 1½ ч.) продолжается то же, но к помехам присоединяются частые посетители, иногда несомненно интересные; в 8½ ч. – ужин, телеграммы и сон. В промежутках забегаешь в больницу, что удастся далеко не каждый день, бегаешь по постройкам, подгоняешь работу. По вечерам нередко беседуем с Д., который все жалуется на то, что его госпитальные запасы лекарств, консервов и проч. расхищают. (Приходится снабжать и войска, и наши же отряды).

IV. Первые раненые

27 апреля 1904 года.

Я нахожусь, наконец, действительно на войне, а не на задворках её: в трех верстах от лагеря, которым раскинулся летучий наш отряд, находятся самые ваши передовые позиции (Фенчулянский перевал). Я сижу на нераскупоренных мешках нашего вьючного отряда; с ящиков слабо светит мне фонарь с красным крестом; слева деловито и спешно жуют голодные лошади, шурша ногами в соломе и время от времени от удовольствия пофыркивая. Справа постепенно вянеет и замирает предсонная беседа в палатках. Тьму, окружающую меня, прорезывает догорающий костер и два движущихся фонаря дежурных санитаров, освещающие их колени, ноги, хвосты и морды лошадей. Опустилась тихая, мягкая, теплая ночь, будто оттого, что небо прикрыло землю куполом из темносиней стали. Небо кажется здесь ближе в земле, чем у нас, и звезды бледнее и мельче. Мы расположились у подножия высокой горы, на берегу совсем мелкой, но быстрой речки, делающей, согласно китайскому обычаю, бесчисленное количество изгибов. На другой стороне речки развернулся дивизионный лазарет, составляющий одно из ближайших к полю сражения медицинских учреждений (ближе только полковые лазареты). Будем работать с ним рука об руку. И он, и мы вышлем в бой еще по небольшому отряду, а здесь, где сейчас стоим, будем перевязывать доставляемых раненых. На ближайших к вам возвышенностях (в одной версте) днем как муравьи чернеют солдатики, укрепляющие позицию. Эти возвышения окружены высокими горами, покрытыми разнообразных оттенков зеленью, среди которой, причудливыми букетами, брошены белые и розовые цветущие деревья. Вообще, здесь удивительно красиво. Дорога от Ляояна в Лянь-шань-гуань, особенно последний крутой и извилистый перевал – необыкновенно живописны.

Я выехал из Ляояна в 11 часов вечера того дня, когда получилось известие о наших тяжких потерях под Тюренченом. Так как ни зги не было видно, то я воспользовался любезно предоставленной мне парной (с пристяжкой) военной повозкой, приспособленной для раненых, так называемой двуколкой, и улегся в ней вместе с доктором К., который никогда верхом не ездил. Нас сопровождали мой казак Семен и солдат, знавший дорогу, которому я предоставил свою верховую лошадь. Конечно, я скоро задремал, несмотря на отчаянную тряску, и не давал себе спать крепко, только чтобы следить за нашими верховыми, боясь нападения на них хунхузов. Тряска вышибала из-под головы подушку, а ногам было свежо, так как ночи здесь холодные, а та была к тому же с дождем и ветром, и я положил казенную подушку на ноги, а под голову – свернутую бурку я, проехав несколько верст, уже не имел ее, – она выскочила из-под меня на радость прохожему. В дальнейшем пути таким же образом доктор Б. лишился своего сак-воляжа и был в отчаянии.

– Was haben Sie denn drin verloren? – спрашиваю.

– Ach! mein Kamm, meine Bürste, meine Seife, Ailes theuerste!

Я утешился, хотя казак, посланный за потерей, ничего не принес.

В три часа ночи мы пришли в Сяолинцзы (полу-этап), где, найдя какую-то грязную подушку в офицерском отделении, я прямо на канах (это отапливаемые каменные нары) уснул сладким сном, уткнув подушку в угол. Не прошло и трех часов, как я вскочил, разбудил свою команду, осмотрел помещение для нашего лазарета и отправился дальше верхом.

Но било одно наслаждение: чудный воздух, чудные пейзажи, моя милая белая лошадка везет меня покойно по отчаянно каменистой дороге, перенося через бесчисленные изгибы одной и той же горной речки. Ехал я и все вспоминал рассказанную тобой легенду о царе, повелевшем всем своим подданным каждый вечер смотреть на звездное небо. Именно, мир и любовь внушают эти чудные места, а тут люди друг друга вынуждены крошить...

От Ляояна до Сяолинцзы – 22 версты, от Сяолинцзы до первого этапа Лян-дя-сан – 18 верст. Там мы отдохнули, пообедали, полюбовались устройством нашего этапного лазаретика, и я опять сел на коня, а бедный К. беспомощно заболтался в двуколке. Этот переход в 25 верст был длинный и тяжелый, через высокую гору, и я тоже ложился в двуколку поспать, но как только раз попробовал поднять голову, чтобы полюбоваться видом, получил от толчка удар в голову деревянной рамой, в которой прикрепляется парусиновая палатка. На гору я поднимался опять верхом и так же спустился с неё. На втором этапе, в Хояне, мы переночевали на канах с небольшой соломенной подстилкой, лежа так близко друг в другу, что почти касались носами и стукались локтями. Наш этапный врач Беньяш дал мне свою подушку и одеяло, а военный врач, тут же ночевавший – свою бурку. Распорядившись устройством лазарета, я снова сел на лошадь и через удивительно красивый перевал переехал в Лян-шань-гуань (18 верст).

Накануне здесь уже прошла первая партия раненых под Тюренченом (163 человека), перевязанных в Евгениевском госпитале Красного Креста. Я осмотрел этот госпиталь, только еще начавший устраиваться, осмотрел и военный госпиталь, и мы сообща пригото-вились принять на следующий день 490 раненых. Они пришли, эти несчастные, но ни стонов, ни жалоб, ни ужасов не принесли с собой. Это пришли, в значительной мере пешком, даже раненые в ноги (чтобы только не ехать в двуколке по этим ужасным дорогам), терпеливые русские люди, готовые сейчас опять идти в бой, чтобы отомстить за себя и товарищей.

– Вот, – говорят эти молодцы, – в деревне только прутиком тронуть, и то слезу вышибут, а здесь и молотком её не добыть.

– В деревне, – говорю, – прутик не болью, а обидой слезу вызывает, а здесь – одна честь.

– Да, да, – поддакивают молодцы, – за Царя, за отечество.

Другой солдатик идет по двору, накинув белый халат на голову, и распевает:

– «На супротивные даруя»...

– Что поешь?

– Целость Миколая Александровича охраняем! – торжествующе осклабился молодой парнишка.

Трогательные ребята! По счастью, японская пуля пока удивительно мила: мышцы про-бивает, кости редко разрушает, пронизывает человека насквозь – и то не причиняет смерти.

V. После Тюренчена

3 мая 1904 г. Ляоян.

В день освящения 1-го Георгиевского госпиталя в Ляояне его посетил командующий армией генерал-адъютант Куропаткин, одобрил его устройство, осмотрел помещение «сестер», и, зайдя в аптеку, спросил, во сколько времени госпиталь может свернуться, в случае отступления.

– В три дня, – ответил аптекарь.

– Ну, это много; столько мы вам, может быть, и не дадим.

То было 21-го марта, сегодня 3-е мая, и мы уже отправляем все, без чего можем обойтись, в Харбин. То, что недель пять, шесть тому навал казалось невозможным, – теперь почти стучится в дверь. Тяжело это ужасно. Больно расстраивать то, что создавалось с такими трудами и любовью.

Целая цепь наших краснокрестных этапных лазаретов между Ляояном и передовыми частями: Сяолинцзы, Ляндясянь, Хоян, Лян-шань-гуань, должны быть ликвидированы. Поддерживают только мысль о солдате, которому отступление должно быть еще неизмеримо тягостнее, и вера в Куропаткина, который, конечно, знает, что делает. Какую выдержку нужно иметь, чтобы при настоящих условиях неуклонно вести дело вопреки окружающему нервному настроению, только подчиняясь точным соображениям и благоразумию! Простое, симпатичное отношение Куропаткина к людям еще увеличивает его обаяние. Меня он однажды привел в такой восторг, что я в тот же день хотел написать тебе целое письмо, посвященное ему, – но, конечно, не успел.

В тот же день уезжал Н. П. Линевич, этот почтенный и симпатичнейший генерал, дважды георгиевский кавалер, командовавший Маньчжурской армией до приезда Куропаткина и назначенный последним в Уссурийский край (в Хабаровск).

Мы с С. В. Александровским присоединились в группе военных, собравшихся его проводить. К этому времени очистили платформу, чтобы пропустить перед отъезжающих, церемониальным маршем, почетный караул. Вдруг Куропаткин сделал несколько шагов навстречу этому караулу и бодро, молодежато прошелся во главе его перед Линевичем. Это было так мило и хорошо сделано, что привело меня в восторг.

Но как давно это было и сколько воды и крови с тех пор утекло! Как будто и не во время войны было, а мирным летом в лагере под Красным Селом.

Не то теперь.

Теперь война чувствуется около нас, как чувствуется смерть в доме безнадежно-больного. Каждая мысль твоя связана с войною, каждое действие твое должно с нею соотноситься. Я был только-что в лагере на передовых позициях, где ждали врага со дня на день, где неделю перед тем отступали наши и провезли тысячу раненых, но там война, где все для неё приспособлено, меньше ощущается, чем здесь, на фоне обычной комфортабельной жизни: ты хочешь отдать белье в стирку, – говорят, прачка (китаец) не берет, значит ожидают скорого приближения японцев; то ты слышишь, что такой-то госпиталь свернулся, то такая-то канцелярия выезжает, и т. д.

А как хорошо теперь стало в Георгиевском госпитале: все здания отремонтированы, офицерский флигель вышел отличный, впереди разведен милый садик, в большом саду поставлены шатры, с другой стороны – крытые железом асбестовые переносные бараки, выросшие как грибы; всем раненым, прибывавшим сразу по 150 человек, хватало и места, и белья, всех их, бедненьких, сестры обмывали, врачи перевязывали, и солдатики, накормленные и отогреты, ехали дальше уже в благоустроенном санитарном поезде.

Ляоян, 16-ое мая 1904 года, воскресенье.

Я удручаюсь все более и более ходом нашей войны, и не потому только, что мы столько проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше потому, что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга, что мелкие личные расчеты ставятся выше понятия об отчизне, выше Бога. Мы не имеем в достаточном количестве новейшего образца пушек. Куропаткину не подвозится достаточное число войск. Под Тюренченом мы потеряли батареи и сражение, которое по геройству 11-го и 12-го полков и большинства батарей, костями легших за свое святое дело, должно бы остаться в истории, как геройский подвиг и, может быть, блестящая победа. Взята у нас под Артуром позиция, которая считалась неприступной. Вчера узнали ни об этой потере нашей, и я весь день был сам не свой, да и сегодня я еще не отошел от этого впечатления, и потому, вероятно, и пишу в таком мрачном тоне, – ты уж прости меня. Не знаю, как бы я пережил все эти события в Петербурге, ковыряясь в обыденных мирных делах. Только и спасает хоть некоторая непосредственная прикосновенность к этому великому испытанию, ниспосланному бедной России.

Всю тяжесть потерь ваших в смысле гибели людей я испытываю теперь, когда у нас постепенно умирают наиболее тяжело раненные, задержанные нами поэтому здесь. На днях, при моем ночном обходе Георгиевского госпиталя, я нашел одного солдата, Сампсонова, раненого в грудь и оперированного, – вследствие образовавшегося у него нарыва над печенью и гнояного плеврита, – в бреду и в тяжелом состоянии. Он обнимал санитаря, трогательно за ним ухаживавшего, и стонал. Когда я пощупал его пульс и погладил его руку, он потащил обе мои руки в свои губы и целовал их, воображая, что это его мать. Когда я подошел к нему с другой стороны и заговорил с ним, он стал звать меня тятей и опять поцеловал мою руку. Я не мог лишить его этой потребности в ласке в родителям и тоже поцеловал этого безропотного и по этой безропотности высокого душой страдальца за родину... И никто-то, никто из них не жалуется, никто не спрашивает: «За что, за что я страдаю?» – как ропщут люди нашего круга, когда Бог посылает им испытания.

Ляоян, 19-е мая 1904 года.

В четверг на прошлой неделе вернулся я из поездки по нашим северным госпиталям, завтра уезжаю на юг.

Здесь у вас, в Южном Управлении главноуполномоченного, не только благополучно, но даже премило: между тремя приспособленными фанзами разбит прелестный садик, в котором пышно цветут розы, азалии, функии и гранаты; обещают даже плоды. Вчера только отчаянно изводила китайская скрипка, визжавшая и свистевшая целый день на соседнем дворе над покойником. Так полагаются у китайцев, которые дежурят около своих умерших, чтобы к нему не забежала вошка или собака. Если же забежит, то, по их поверью, покойник встанет и пойдет к живым людям, которые от этого начинают помирать.

– И часто это случается? – спрашивает наш санитар переводчика.

– Постоянно, постоянно, – убежденно отвечает тот. А между тем, мертвых детей своих они бросают на съедение собакам. Д. сам видел, как недалеко от госпиталя собака тащила трупик ребенка лет четырех уже с выгрызенной грудкой.

Когда я был недавно в Мукдене, я осматривал, между прочим, знаменитые могилы императоров. Каждая китайская могила есть просто песчаный бугор, совершенно подобный обыкновенным кучкам, в которые сваливается у нас песок. Кто может, ставит перед могилой каменный столб, не круглый, а плоский. У более богатых он выше, украшен резьбой и надписями и стоит на спине высеченной из камня черепахи. Императорская могила изображает все то же, но в гигантских размерах. Огромный песчаный бугор окружен высокой каменной стеной, за которую редко кого пускают, но все, что за нею, ясно видно с соседнего

гребешка. На могиле растет корявое полуизсохшее дерево, а на нем – орлиное гнездо. Так и реют обитатели его над всем этим уединенным местечком. Вход за стену, которою окружен собственно могильный холм, представляет собою прелестные по красоте ворота с чудными орнаментами из разноцветных изразцов.

Еще лучше, прямо дивно хороши первые ворота, которые ведут в сад, окружающий стену. В этом саду, между первыми и вторыми воротами – традиционный, но исполинских размеров каменный столб на черепахе и по бокам главной аллеи – высеченные из камня животные: верблюды, слоны, львы (собакоподобные) и т. п. Сбоку отгорожена полуразвалившаяся кумирня.

VI. Перед боем под Вафангоу

Вандзялин, 25-ое мая 1904 года.

Последние дня можно назвать для нас погоней за ранеными. Прошел слух, что будут большие операции на юге, и мы спешно полетели туда. Но там оказалось тихо, и дальше последней железнодорожной станции нам двинуться не пришлось. Едва наметили мы новую организацию наших этапных лазаретов, как пришло известие о высадке японцев около Кайджоо и столкновении с нашими войсками. В виду того, что в Кайджоо у нас нет ни лазарета, ни летучего отряда, мы спешно собрались из Вафангоу и, прихватив еще студента V курса с перевязочным материалом и инструментами, погрузив ваших лошадей, воспользовались паровозом, который шел туда за водой, выхлопотали разрешение прицепить к нему несколько вагонов и спешно выехали назад на север. Здесь стоит наш санитарный поезд, в котором я и пишу, но нам не разрешено было им воспользоваться, чтобы доехать до Кайджоо, и мы должны были здесь переночевать. Утром сегодня слышим канонаду, моментально велим седлать коней, чтобы ехать туда, – нам объявляют, что через час идет поезд и обгонит нас. Коней расседлывают, канонада стихла, и мы опять сидим и ждем. Так было и вчера: японцы немного постреляли, даже, говорят, частью высадились и без боя вернулись на суда. Ожидание, как ты знаешь – самое томительное времяпровождение, но мы выдерживаем его очень бодро и терпеливо, благодаря хорошей компании, живому характеру Сергея Васильевича и очень милому спутнику, старому доктору А. А. Г., проделавшему еще турецкую кампанию. Это – цельный и очень симпатичный тип шестидесятых годов, именно один из положительных типов этого периода, гражданин своего отечества, болеющий за него душой, когда что неладно, и жаждущий его успехов, мечтающий о них. Небольшого роста, полный, коренастый, с лысой головой и большой седой бородой, с двумя рядами редких, но крепких зубов, он своим басом и очками напоминает мне А. Н. Пыпина и тем уже приятен.

– Очертело мне здесь, – мрачно говорит он в минуты грустного раздумья, а через несколько минут всех рассмешит какой-нибудь молодой забавной шуткой. Так, вчера, когда все с нетерпением ждали, чтобы разогрели консервы, он тоже объявил себя голодным и стал изображать нетерпеливую лошадь, ударяя одной ногой об песок. Мы все дружно захохотали. Когда вчера пришло известие о высадке японцев около Кайджоо, он первый, почти шестидесятилетний старец, стал подбавать Сергея Васильевича ехать туда.

– Это случай нашим войскам одержать победу, – радовался он.

27-ое мая 1904 года.

Мы пятый день без всякого дела, все катаемся взад и вперед, причем на каждой станции нас изводят маневрами и возят то несколько шагов вперед, то несколько шагов назад, и угощают такими толчками, что В., который с нами едет, танцует, поднимая руки изящным жестом кверху. Он страшно смешил нас разными анекдотами и остротами, но под конец и он исчерпался, и мы устали смеяться. Сейчас за этим письмом, сидя на ящиках с консервами и тюфяке, примостившись спиной к стене вагона, я заснул, но во сне продолжал водить пером по бумаге. В этом виде меня снял князь Львов, главноуполномоченный объединенной земской организации, присылающей сюда ряд этапных лазаретов и питательных пунктов.

Много делается теперь для наших солдат, но они еще не развернулись во всю родную мощь. Послушав рассказов Г. о русско-турецкой кампании, я как-то успокоился за исход и настоящей, снова укрепив веру в наше воинство. Мы просто еще не разошлись, а разоидемся – так покажем себя снова и добьемся своего. Трудно это будет, мы много потеряем, но восстановим вашу репутацию славных и несокрушимых. Что пока настоящая война в сравнении с русско-турецкой, с переходом через Балканы, когда пушки тащили люди одним

колесом по уступу скалы, другим воздухом над пропастью, когда единицы наших сражались против сотен и тысяч врага, когда люди месяцами не имели крова и зябли в снегах, согреваясь лишь у костров?! Доктор Г. рассказывал про своего товарища, который приехал раз в шинели на голом теле и в солдатских рваных опорках, несмотря на сильный мороз. Оказалось, что он встретил раненого, что перевязать его было нечем, и он разорвал свое белье на бинты и повязку, а в остальное одел его. И так он это делал весело, просто и хорошо. Далеко еще нам, далеко до них...

VII. В бою под Вафангоу

Дашичао, 15-ое июня 1904 года.

...Дело было, как ты знаешь, вод Вафангоу. 31-го мая я присел на свою кровать в палатке рядом с Кононовичем и что-то с ним обсуждал, когда его санитар Рахаев обратил наше внимание на то, что в соседнем полку трубят тревогу. Мы прислушались – верно. Тотчас были оседланы кони, и мы поехали в штаб. Там узнали, что тревоги нет, но что велено выступить на позицию, а войскам, бывшим впереди, в Вафандяне, отступить на нее же, и что на следующий день в 12 часов ожидается бой.

В этот день, поспав одетый часа полтора, я перевел раненых, пришедших ночью с юга, из товарного поезда в санитарный, и когда, устроив их, около четырех часов утра, возвращался через станцию, я увидел, что командир первого корпуса, барон Штакельберг, уже встал, его штаб на ногах, у подъезда – его конвой. Я разбудил Кононовича, тотчас оседлали опять коней, и мы стали поджидать Штакельберга. Однако, время шло, и мы поехали одни на позиции, которые объехали уже накануне. Мы остановились у А. А. Гернгросса, очень милого и хорошего генерала, начальника 1-ой дивизии, потом, дождавшись Штакельберга, проехали с ним на 2-ую баттарею. Шли приготовления к сражению, и мы поехали назад, выкупаться и пообедать. Последнее нам не удалось, так как стали раздаваться орудийные выстрелы. Они становились все чаще, и мы невольно считали промежутки между ними, как между родовыми схватками. Консервы не лезли нам в рот, и мы снова поскакали к Гернгроссу. Он сидел со своим штабом в покойном ожидании, но солдатики уже нервничали, все повскакали и нетерпеливо ждали приказа двигаться. Наконец, настал момент, они стали одеваться и пошли. Вскоре поехали и мы со штабом Гернгросса, желая выяснить, как лучше расположить наши летучие отряды. С час летали мы во всем позициям и остановились опять на 2-ой баттареи, где и сошли с коней.

Все весело болтали; к нам подъезжали различные офицеры; один из них, артиллерист Сидоренко, очень симпатичной наружности, с той самой баттареи, на которой мы стояли, оживленно рассказывал, как их обстреливали при отступлении из Вафандяна, – когда в 1 ч. 30 мин. дня поставленная против нас японская баттарея сделала первый выстрел. Первая шрапнель разорвалась очень далеко впереди вас, вторая – поближе, третья уже показала, что стреляют во нас. Гернгросс распорядился увести лошадей и нам не стоять толпой. Снаряды стали ложиться все ближе и ближе. Гернгросс стал спускаться с горы; за ним пошли все, а я немного задержался на горе. Снаряды свистели уже надо мной и со злобой ударяли в близ лежащую гору, разрываясь совсем близко от всей удалявшейся по лощинке группы людей. Впоследствии я узнал, что тут моя лошадь получила удар над глазом камнем, отбитым шрапнелью.

Я собирался тоже спускаться, когда ко мне подошел солдатик и сказал, что он ранен. Я перевязал его и хотел приказать вести его на носилках (он был ранен в ногу шрапнельной пулей), но он решительно отказался, заявляя, что носилки могут понадобиться более тяжело раненым. Однако, он смущался, как он оставит баттарею: он – единственный фельдшер её, и без него некому будет перевязывать раненых. Это был перст Божий, который и решил мой день.

– Иди спокойно, – сказал я ему, – я останусь за тебя.

Я взял его санитарную сумку и пошел дальше на гору, где, на склоне её, и сел около носилок. Санитаров не было – они находились в лощинке под горой. Наша баттарея уже давно стреляла, и от каждого выстрела земля, на которой я сидел, покрытая мирными белыми цветочками вроде Edelweiss'a, сотрясалась, а та, на которую падали японские снаряды, буквально, стонала. В первый раз, когда я услышал её стон, я подумал, что стонет чело-

век; я прислушался, и во втором стоне я уже заподозрил стон земли, на третьем – я в нем убедился.

Это не поэтический, а истинный был стон земли.

Снаряды продолжали свистеть надо мной, разрываясь на клочки, а иные, кроме того, выбрасывая множество пуль, большею частью далеко за нами. Другие падали на соседнюю горку, где стояла 4-ая, почему-то особенно ненавистная японцам, батарея. Они осыпали ее с остервенением, и часто я с ужасом думал, что, когда дым рассеется, я увижу разбитые орудия и всех людей её убитыми. И этот страх за других, ужас перед разрушительным действием этой подлой шрапнели составлял действительную тяжесть моего сиденья. За себя я не боялся: никогда еще я не ощущал в такой мере силу своей веры. Я был совершенно убежден, что как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не пожелает; а если пожелает, – на то Его святая воля... Я не дразнил судьбы, не стоял около орудий, чтобы не мешать стрелявшим и чтобы не делать ненужного, но я сознавал, что нужен, и это сознание делало мне мое положение приятным. Когда сверху раздавался зов: «носилки!», я бежал наверх с фельдшерской сумкой и двумя санитарями, несшими носилки; я бежал, чтобы посмотреть, нет ли такого кровотечения, которое требует моментальной остановки, но перевязку мы делали пониже, у себя на склоне. Почти все ранены были в ноги и все, перевязанные, вернулись к своим орудиям, утверждая, что, лежа, они могут продолжать стрельбу, и что «перед таким поганцем» они не отступят. Люди все лежат в своих окопах около орудий, что их очень выручает, а офицеры сидят, и только мой Сидоренко чаще всех, всей своей стройной фигурой, подымался над батареей.

Я благоговел перед этими доблестными защитниками своей родины и радовался, что подвергаюсь одной с ними опасности. «Почему – думал я – я должен быть в лучших условиях, чем они? Ведь и у них у всех есть семьи, для которых смерть их родного будет тяжким горем, а для иных – и разорением». Санитары, разбежавшиеся-было по нижним склонам горы, видя меня на их месте, все подобрались ко мне и расположились около носилок, но когда осколком шрапнели и камнями у меня опрокинуло ведро с водой, прорвало носилки и забросило их на одного из санитаров, они окончательно спустились вниз, и только из-под горы посматривали, цел ли я, после особенно сильных и близких ударов. Между ними был и санитар Кононовича, Рахаев, упрямивший отпустить его со мной, так как он хотел «совершить подвиг», и казак Семен Гакинаев, сопровождавший меня в поездке в Лян-шан-гуань и с тех пор считающийся моим казаком. Он не оставлял меня ни на шаг ни 1-го, ни 2-го июня. Гакинаев потом много рассказывал про мою «храбрость», особенно поразившую его потому, что, по его мнению, все врачи должны быть почему-то трусами.

– Сидит, – говорил он про меня, – курит и смеется.

Смеяться, положим, было нечему, но я улыбался им, когда они «петрушками» снизу посматривали на меня.

Один из батарейных санитаров, красивый парень Кимеров, смотрел на меня, смотрел, наконец выполз и сел подле меня. Жаль ли ему стало видеть меня одиноким, совестно ли, что они покинули меня, или мое место ему казалось заколдованным, – уж не знаю. Он оказался, как и вся батарея впрочем, первый раз в бою, и мы повели беседу на тему о воле Божией.

Вскоре, с левой стороны, ко мне подсел другой молодой солдатик, совсем мальчик с виду, Блохин, который спасался то на одном склоне горы, то на другом, и всюду, видимо, чувствовал себя одинаково скверно. Казалось, он хотел прижаться ко мне, как теленок к матке, и причитал после каждой шимозы или шрапнели.

Бой разгорелся жаркий: впереди (на левом нашем фланге) слышался за горой неугомонный треск пулеметов и ружейного огня; японские батареи, с небольшими паузами, осыпали нас своими снарядами. Мы тоже отстреливались: в воздухе слушались голоса: «Девяносто-два! Девяносто-пять! – направо от деревни!» и т. д. Вдруг из-под горы вылезает один

из наших краснокрестных санитаров (10-го летучего отряда), Тимченко, раненый в правое плечо. Мы столпились около него, и я начал его перевязывать. Над нами и около нас так и рвало, – казалось, японцы избрали своей целью ваш склон, но во время работы огня не замечаешь.

– Простите меня! – вдруг вскрикнул Кимеров и упал навзничь. Я расстегнул его и увидел, что низ живота его пробит, передняя косточка отбита и все кишки вышли наружу. Он быстро стал помирать... Я сидел над ним, беспомощно придерживая марлей кишки, а когда он скончался, закрыл ему глаза, сложил руки и положил удобнее. После этого я спустился вниз доканчивать перевязку Тимченке; оказалось, что к тому времени был равен легко в ногу уж и бедный мой Блохин. Когда оба были перевязаны и остальные санитары унесли их, я опять вернулся на свое место и остался вдвоем с трупом. К счастью, был уже седьмой час, стало темнеть и, после двух-трех выстрелов от японцев, бой окончился.

Я пошел к моему милому Сидоренке, которого навещал и во время боя. Офицеры батареи стали понемногу сходиться; все были радостно возбуждены, что отстояли позицию, поздравляли друг друга с крещением огнем, радовались незначительным потерям: человек девять раненых и четверо убитых – мой Кимеров и трое нижних чинов, все трое – одним ударом; значит, из всей массы выпущенных на нас снарядов только два оказались смертоносными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.